

Владимир Иванович Даль

Павел Алексеевич Игриный

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-3
ББК 84

Владимир Иванович Даль

Павел Алексеевич Игривый / Владимир Иванович Даль – М.: Книга по Требованию, 2011. – 56 с.

ISBN 978-5-4241-3259-9

В 1847 году в «Отечественных записках» появилась повесть В. И. Даля «Павел Алексеевич Игривый». Главный герой этой повести отражает поиски автором положительного идеала своего времени. В молодости Игривый – деятельный помещик, благородный, добрый и отзывчивый человек. Кончается же повесть тем, что Игривый, обрюзгший, пожилой человек, лежит на диване, держит в руках истасканную книжку, ничем не интересуется, много спит. А ведь когда-то он был способен на большее. Вся его жизнь была безграничным самоотвержением во имя любимой женщины. Подвиг этот окончен, и вместе с ним утрачен смысл человеческой жизни.

ISBN 978-5-4241-3259-9

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Владимир Иванович Даль
Павел Алексеевич Игравый

В небольшой комнате было два стола – один так называемый ломберный, складной, очень ветхий, другой сосновый, который некогда был выкрашен голубой краской, затем белой и, наконец, красной, и потому на вытертых углах и лысинах стола видны были все три слоя краски. Еще стояло тут семь стульев – пара очень затасканных, оплетенных осокой, пара вовсе деревянных, как будто дружки сосновому столу, но один был облечен в первоначальную масть этого стола, то есть голубой, а другой, по-видимому, принял участие во втором переводе и оделся в белую сорочку; пара тяжеловатых кресел неизвестного склада и масти, одетые издавна пестрядевыми чехлами, видимо состояли в близком родстве с таким же раскидистым диваном; подушка седьмого стула, наконец, если рассмотреть ее тщательно, показывала, что была когда-то вышита шелками по сукну или казмиру неопределенного цвета, но все это давно поблекло, полиняло, шелк местами вовсе повыверся, казмир посекея. В комнате стоял еще перекосившийся шкаф, доживавший век свой пузатый комод, горка с трубками величиною с Гаркушин курган ¹, а стены были увешаны несколькими старообразными ружьями и другими отставными охотничьими припасами, а также старосветскими картинами в красных узеньких рамочках.

На диване лежал человек средних лет, рослый, плотный, видный, в весьма поношенном халате; он читал какую-то истасканную книжонку, или по крайней мере держал ее в руках, и сосал погасшую трубку. Среди пола лежал вразяжку большой легавый пес, ворчал и лаял про себя во сне.

Павел Алексеевич Игривый – так звали этого барина – оглянулся с улыбкой на своего любимца, потянул опять трубку и, заметив, наконец, что она погасла, закричал: «Эй, Ванька!» Иван вошел, не говоря ни слова, подал барину на смену другую трубку, а покойницу унес для дарования ей новой жизни, то есть для чистки и набивки.

Много пять минут продлилось молчание, прерванное несколькими вздохами и зевками барина и бессловесными возгласами его любимца, как опять раздалось: «Эй, трубку!...» По третьему подобному призыву своему, однако же, помещик наш встал, потянулся, спросил у Ваньки: «А что, рано еще?» И узнав, к своему удовольствию, что уж не так рано, а час девятый, решил, что пора спать, и пошел в соседнюю почивальню. Ванька последовал за ним. Здесь мебель ни в чем не уступала кабинетной: односпальная кровать о двух тюфяках и двух периных, с целой копной подушек и бессменными на вечные времена занавесками, стояла во всей готовности для приема в недра свои хозяина.

– Ну, брат Ванька, – сказал он, – коли так, отойдем, помолвившись, ко сну. Ты раздень и разуль меня, уложи меня, накрой меня, подоткни меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну я сам.

– Да никак, сударь, – сказал Ванька, – и дворня-то вся спит без просыпу. Хоть бы приказали собраться да волков попугать; ведь вот вечер телку зарезали у Карпова, того гляди ребят обижать станут. Бывало, вы, сударь, охотились сами.

– Э, бывало! Было, да быльем поросло. Пожалуй, соберитесь па днях да поохотьтесь себе.

– То-то, сударь, холостому человеку все не в охоту; хоть бы, сударь, невесту себе выбрали да женились, и мужики все жалеют об вас.

Барин захохотал.

– Эка, вовремя собрались пожалеть! Нет, брат, уж мои невесты, чай, давно на

том свете козлов пасут... Эка забота моим мужикам! Ну, видно ж, им не о чем больше тужить: по грибы не час и по ягоды нет – так хоть по еловы шишки.

– А что ж, сударь, и вестимо, что так: они за вашею милостью живут захребетниками и не тужат, а вам так вот, видно, скучно; была бы хозяйка...

– А зови-тка ради скуки Меледу с понукалкой, так вот и уснем под шумок и размыкаем горе.

Меледой прозвали сказочника Гаврюшку, своего, доморощенного поварского помощника, который в четыре года не мог выучиться готовить простых шей с забелкой, отговариваясь тем, что все ночи напролет сказывает барину сказку и потому днем должен спать, вследствие чего-де и учиться некогда, да и проспал память. Меледа вошел разутый и полураздетый, принес по обычаю под мышкой одр свой – войлочек и подушонку, постлал его в ногах у барской кровати, присел на него, почесываясь, и ждал барского «ну». В то же время вошел в комнату еще другой человек, одетый и обутый, но с такой дурацкой рожей, что посторонний не мог бы взглянуть на него без смеха. Он стал спокойно у дверей, сложил руки, выставил одну ногу и принялся зевать, будто по заказу, растворяя пасть как широкие ворота и поднося то ту, то другую руку к бороде и растопыривая все пять пальцев. Лицо это было известно в доме под должностным званием *понукалки*, а Меледа называл его обыкновенно дармоедом и надоедалой. Это была также ночная птица для потехи барина; обязанность его состояла в том, чтоб не давать уснуть преждевременно сказочнику и понукать его, если тот задумается или запнется. Когда один из приятелей Павла Алексеевича спросил его, глядя на эту знаменитость, откуда он достал такого урода и свой ли он, то Павел Алексеевич отвечал: «Нет, это наемный, проскуровский мещанин, я плачу ему по четыре целковых в месяц да отпускаю еще месячину. Свой на это дело не годится, сам первый уснет наперед сказочника, тогда что я с ним стану делать – браниться да драться? Нет, этого я не люблю. А этот боится, знает, что сгоню со двора, коли нехорошо служить станет, так он и держит ухо остро. Притом и я к нему привык: не могу глядеть на него, чтоб не стало клонить ко сну, а как растворит ворота да зевнет – так тут и я уснул».

Когда все это устроилось в порядке и оба должностные лица заняли свои места, Павел Алексеевич покряхтел, потом вздохнул, там зевнул и промычал: «Ну». Сказочник начал покрякивать, а понукалка приосанился и с этой минуты вступил в свою должность. Командное словечно «ну» развязывало и ему самому язык на это же коротенькое словцо и давало ему власть понукать сонного сказочника. Этот начал очень плавно и бойко, молот с четверть часа безостановочно, а там забормотал менее внятно и захотел перевести дух. «Ну», – начал его пришпоривать понукалка, у которого также слипались глаза, но который не смел прилечь, чтоб не заснуть, и все стоял на своем месте. «Ну...» Меледа крякнул и продолжал:

– На том на море на окяине, на острове на буяне стояла береза – золотые сучья, на тех на сучьях яблочки серебряные, в них зернышки – граненый алмаз...

– Ну, – начал опять от скуки понукалка, покачиваясь и не слушая, впрочем, говорит ли тот сказку или дремлет.

– Стояла корова – золотые рога; на одном рогу баня, на другом котел: есть где помыгься, попариться...

– Ну...

– Ну да ну; чего ты нукаешь?

– Да, вишь, ты не бойко говоришь, дремлешь...

– Сам ты дремлешь, дармоед; гляди: затылком двери пробил; а я не дремлю...

На том на острове текут реки медвяные, сыговые, берега кисельные; девка выйдет, ударит коромыслом, черпнет одним концом – зачерпнет два красна холста; черпнет другим...

Тут Павел Алексеевич всхрапнул довольно внятно и несомнительно; сказочник, сидя на полу и обняв руками колени, понурил на них голову и замолк, а понукалка не счел уже нужным его тревожить и, постояв еще немного, вышел в соседнюю комнату и там прилег.

Часу в седьмом утра Павел Алексеевич проснулся, и все в доме зашевелилось. Обувшись в бараньи сапожки домашней выделки и в халат свой, он умылся, помолился и стал советоваться с Ванькой, чего бы выпить сегодня: малины ли, бузины ли, шалфею, липового цвета, кипрею, ивана-да-марья, ромашки с ландышами или уж заварить настоящего чаю? И Ванька рассудил, что бузина пьется на ночь для испарины, малина после бани, шалфей в дурную погоду, липовый цвет со свежими сотами, иван-да-марья и ромашка, когда неможется, кипрей, то есть копорский или иван-чай, по нужде, за недостатком лучшего, и потому полагал заварить сегодня настоящего китайского чаю, что и было исполнено. От чая сделан был незаметный переход к завтраку; а между тем староста, мельник, скотница и другие сельские сановники отбывали доклады свои и получали приказания. По временам книжка будто невзначай опять попадала в руки Павла Алексеевича, но вскоре другие занятия развлекали его и вековая книжка оборачивалась корешком кверху. Не успели оглянуться, как Иван подал щи, кашу да жаркое; там оказалось полезным отдохнуть часика два; там Павел Алексеевич прошелся по хозяйству и по саду, напился липового цвета с сотами, разобрал несколько ссор и жалоб, отдал приказания на завтрашний день, осведомился, не рано ли, и, услышав, что девятый, поспешил перекусить немного, помолился, лег, и Меледа с понукалкой явились снова тем же порядком, как и вчера.

Вот ежедневный быт, будничная жизнь Павла Алексеевича. По праздникам он облачался в сюртук бурого или кофейного цвета, выпускал белый воротничок, брал соломенную шляпу или полутеплую фуражку, смотря по погоде, трость и белые перчатки, которые, впрочем, никогда не надевались, и отправлялся в церковь, бывшую у него же на селе. Иногда, хотя довольно редко, кто-нибудь заезжал к нему; еще реже он бывал у других; но настоящим праздником для него был тот почтовый день, в который гонец привозил ему из города письмо. Такое письмо, казалось, одно только привязывало его всей душой к жизни; Павел Алексеевич оживал, был в тот день деятельнее и веселее и, прочитав письмо раз другой про себя, перечитывал его еще Ваньке и одной дворовой женщине, известной в доме под названием мамушки.

Что же читатели скажут о Павле Алексеевиче, о быте его и роде жизни, которую мы старались изобразить точно и верно? Я думаю, что иной, может быть и вовсе незлобный, столичный житель готов будет с чувством собственного достоинства пожать плечами и назвать его животным; может быть, даже и самый снисходительный приговор будет еще довольно жесток для скромного деревенского жителя и не избавит его от сострадательного презрения. Но всегда ли наружность достаточно изобличает внутреннюю ценность человека? Почему знать,

что помещик наш передумал и перечувствовал на веку своем, невзирая на бесчувственную, довольно плоскую и бессмысленную наружность?

Лет тому двадцать пять в сельце Подстойном помещицья семья сидела за вечерним самоваром и с нетерпением ждала кого-то. Живо и плотный белокурый старик, в долгополом домашнем сюртуке, с огромными усами, с большими, но бессмысленными серыми глазами, с отставными военными ухватками и молодецеством, похаживал взад и вперед, то останавливался у открытого окна, глядел и прислушивался, то посматривал на стенные часы с двумя розочками и двумя незабудками по углам и наконец, продувая трубку свою, сказал:

– Нет, уж видно, я говорю, сегодня не будет.

– А может быть, и будет, – заметила хозяйка его, заглянув в чайник и прибавив туда на всякий случай водицы. – Ведь ему надо быть к сроку, к ярмарке; а уж он, чай, не обманет, коли обещал заехать к нам по пути да привезти весточку от Любаши.

– Ну, загулялся в Костроме, – возразил старик. – Человек, я говорю, молодой, поехал в город, да еще с деньжонками, так ему и не до Любаши; она еще ребенок.

– Никак едут-с, – сказал, вошед торопливо, слуга, указывая слегка в ту сторону, откуда ждали гостя.

– Ну, вот видишь, – проговорила хозяйка с изъявлением радости, – между тем как хозяин вышел на крыльцо, а вслед за тем обнял желанного вестника и при громогласном разговоре ввел его в комнату.

– Уж и ждать было перестали! – так встретила его хозяйка. – Особенно Иван Павлович, говорит: видно не будет; а я все жду-пожду; нет, говорю, будет... Чайку прикажете с дороги или закусить чего?...

– Благодарю, – отвечал молодой человек, – чашечку выпью, но я тороплюсь домой, немножко позамешкался, позадержала Любовь Ивановна...

– Как, она? Не-уж-то? Голубушка моя! Что ж, видел ее? Что она? Не скучает? Здорова?... – Так посыпались вопросы матери.

– Здорова, – отвечал тот, немного зарумянившись, – и шлет вам много поклонов и поцелуев; я раза три навещал ее.

– Уж и поцелуй! – сказал, захохотав, отец. – Слышите, что я говорю? Я говорю; уж и поцелуй; ха-ха-ха!

– На словах, разумеется, – возразил приезжий. – И хотя словесный поцелуй, да еще и передаточный, утешителен для того только, кому назначен, но я принужден был покориться строгости костромских пансионских правил, по которым не дозволяется даже поцеловать ручку воспитанницы!

– Смотри, пожалуй! – стал опять острить отец. – Дети они, дети, а только покинь их без присмотра, тотчас вот по натуре своей наколобродят... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: вот тотчас по натуре своей и наколобродят.

– Да порасскажите ж нам, голубчик Павел Алексеевич, что-нибудь о Любаши, – сказала с нетерпением хозяйка, выручив этим молодого человека из замешательства, в которое поставило его бестолковое, но громогласное замечание Ивана Павловича. – Расскажите, что она, моя голубушка, и как?

Павел Алексеевич принялся выхвалять Любашу с большим чувством, и сознание, что он может и даже обязан делать это в настоящем своем положении, отдавая об ней отчет ее родителям, доставляло ему большое утешение. Вскоре у матери на глазах навернулись слезы, старик, стоя, наклонился вперед и подымал

брови все выше да выше, как будто прислушивался внимательно, а между тем беспрестанно перебивал всех остротами своими и заставлял выслушивать их по два и по три раза, приговаривая: «А слышите, что я говорю? Я говорю: ха-ха-ха!»

– Начальница и дамы не нахалются ею, – продолжал Павел Алексеевич, – а вы не нарадуетесь, когда свидетесь. Она выросла, уже почти совсем сложилась...

– Ох, боже мой, – сказала мать, всплеснув руками. – В эти годы, можно ли?

– А что ж, матушка? – заметил отец. – Ведь и ты по шестнадцатому году за меня вышла, вспомни!

– И то правда, – отвечала она, сосчитав что-то по пальцам. – Да ведь она ребенок еще, видит бог, ребенок...

– Ну, ребенок, – заревел Иван Павлович, позабыв, что он сам сейчас называл дочь ребенком, – ну, такой же ребенок, как и ты! Ха-ха-ха! Слышите, что я говорю!

– Как, мать такой же ребенок, как и дочь?

– Ну да, матушка, да ведь я говорю о прошлом, я говорю...

– Да, о прошлом! Ох, разумеется, все мы были праведными младенцами...

Расторопный слуга вошел и спросил робко у барина, не будет ли каких приказаний насчет чего-нибудь, и при этом покосился как-то странно на гостя. Это значило: кучер гостя ужинает, так не напоить ли его пьяным, чтоб барина задержать по обычаю на ночь, или уж не снять ли на всякий случай у брички колесо? На этот раз подобных распоряжений не последовало: хозяин знал, что гостю надо быть дома к сроку и ехать на ярмарку, и потому после долгих прощаний, благодарений, дружеских приглашений и благословений его благополучно отпустили.

– А о косо-то я и позабыла спросить! – ахнула, старушка, когда бричка покачалась со двора, и кинулась было к окну, но опоздала. – Сама Любаша ничего толком не напишет... такой ветер! А я и не знаю, выросла ли у нея коса-то, хоть бы вот четверти в три?

– Выросла, матушка, – утешал ее отец, – слышишь: сложилась девка совсем. Ха-ха-ха! И выросла и сложилась!

Скажем теперь, проводив Павла Алексеевича, что это был сосед в шести верстах от старика Ивана Павловича Гонобобеля и супруги его Анны Алексеевны, к которым мы сейчас заглянули. Мы были там невидимками, и потому с нашей брички также колес не сняли; но редкому гостю удавалось выехать из сельца Подстойного без этой проделки.

Павел Алексеевич Игривый, полный хозяин хорошенького именища Алексеевки, возвратился года за полтора из университета, не кончив курса, для приема имения своего по случаю внезапной смерти отца и взялся за хозяйство. Он съездил теперь по своим делам в Кострому и привез любезным соседям весть о дочери их, которая, как мы слышали, оканчивала свой учебный курс в частном пансионе, названном на вывеске, не знаю, почему, *Образцовым*.

Полчаса, которые Игривый ехал от Подстойного до Алексеевки, прошли в таком же точно сладостном забытьи и бессвязных, розовых мечтах, как все время пути от Костромы до Подстойного. Павел Алексеевич думал о том, что Иван Павлович прав и Любаша вовсе не дитя, как полагала Анна Алексеевна; что сам он сказал истинную правду относительно строгости пансионских учре-

ждений и одной только словесной передачи поцелуя, хотя, в сущности, такое задушевное, заповедное рукопожатие, каким он мог похвалиться, едва ли не перевесит иного необдуманного, легкомысленного поцелуя; что, наконец, Любаша неизъяснимо мила, несмотря на свой возраст отроковицы... Вот сущность мечтаний Игривого, который не скучал перебирать думу эту со всех концов, разыгрывать ее на все лады и тешиться ею па просторе. Обстоятельства не позволили ему кончить университетского ученья и заслужить ученую степень²; но он твердо намеревался сделать это при первой возможности, приведя дела свои в порядок, с нетерпением рассчитывал и соображал он теперь что-то по годам и месяцам и заглядывал в будущую судьбу свою гораздо далее вперед, чем это нам дозволено.

Годик прошел незаметно; в Подстойном и в Алексеевке все оставалось по-старому, с тою только разницей, что Игривый соскучал без Костромы, к счастью, вскоре опять нашел необходимым съездить туда по своим делам и опять привез много поклонов от Любаши; а затем наконец ныне событие необычайное было на мази в Подстойном: Гонобобель с хозяйкой снаряжались в путь-дороженьку, все в ту же Кострому, и притом уже за своей Любашей. Она окончила свое образцовое пансионское ученье. От суеты и крика Ивана Павловича вся дворня стояла всенощную уже семеры сутки сряду; дорожный рыдван выкатывали на широкий двор и опять подкатывали в сарай раз по пяти на день. Хозяин сам ничего не смазывал и не увязывал, но ходил день-деньской в дегтю и в смоле и не выпускал из рук какой-то толстой бечевки. Все приказания его отдавались дважды и трижды в один дух, с сильным ударением на «я говорю», но одна часть приказаний этих была уже исполнена накануне, а другая до того противоречила первым или даже самому здравому смыслу, что «сейчас» и «слушаю-с» вырывались из уст прислуги только по исконному обычаю, а вовсе не для того, чтоб кто-нибудь думал об исполнении. Анна Алексеевна переправлялась по несколько раз в день из задних покоев в сарай с несколькими попугайчиками из девиц: все они были навьючены и нагружены, как верблюды, и вся поклажа эта, большею частью съестные припасы, укладывалась тихомолком в рыдван.

«Половину этого Иван Павлович непременно выбросит вон, – думала скромно про себя Анна Алексеевна. – Так пусть же другая половина останется: дорогою пригодится. Кострома не близкий свет: на своих неделя езды».

Тут были не только крендели, кокурки, пироги, курник и пирожное всех родов, но были и сушеные вишни, и яблоки, и даже моченый горох, собственно для Ивана Павловича. До моченого гороха Иван Павлович был страстный охотник, ел его о всякую пору, особенно дорогой, и им-то Лина Алексеевна очень удачно затыкала мужу рот, когда он начинал ворчать слишком упорно и назойливо.

Игривый наведывался в это время почасту к соседям, и не раз уже вырывались у него такие странные выражения усердия и готовности быть чем-нибудь полезным при снаряжении их в дорогу, что походило на то, будто ему хотелось скорее их выпроводить. Казалось бы, они ему ничем не мешали тут – но, видно, он думал об этом иначе, или даже у него была тут какая-либо не прямая, а косвенная думка.

Наконец взшло то солнышко, которому суждено было до заката своего осветить поезд Гонобобеля из Подстойного в Кострому. Рыдван шестерней да тройчатая телега стояли у подъезда. Несметная дворня, разделенная на две густые

толпы, стояла направо и налево от крыльца, острила над кучером и выносным, над девкой в дорожном уборе, в какой-то куцей куртке и барынинных башмаках и ожидала господ. В покоях послышались голоса: барыня простилась с кошками своими в девичьей и там отдала уже все приказания насчет корма и присмотра за ними; но барин простался с собаками гласно, как на мирской сходке.

– Кирушка! – кричал он, стоя на крыльце. – Да чтобы навар был дважды в педелю, слышишь, а по будням овсянка – слышишь? Я говорю, чтоб они праздник знали... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – и народ, кланяясь угодливо, от души засмеялся.

– Это что? – спросил Иван Павлович, остановившись на втором приступке кареты.

– Дорожные припасы, мой друг, – отвечала примирительным голосом Анна Алексеевна.

– Это вон – ха-ха-ха! И вот это вон, и это вон, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – И узлы с мешками летели из рыдвана в открытые двери. Дворня подхватывала мешки и мешочки на лету и по знаку Анны Алексеевны передавала все это втихомолку на запятки и в телегу. Довольный этою победой, Иван Павлович весело уселся, сказав: – Ну, вот теперь милости просим, матушка Анна Алексеевна! Слышите, что я говорю, – а? Вот теперь милости просим – ха-ха-ха!

Поклоны и пожелания дворни посыпались громогласно; кучер свистнул, тряхнул вожжами, и карета покатилась. Телега была нагружена перинами, подушками, девками, овсом и бог весть чем, а потому большая часть узлов и мешков, вылетевших из кареты мановением руки Ивана Павловича, поступили на временное попечение того, кто сидел на запятках. Бедняк обнял во все руки и держал целый воз поклажи, так что ни он не видел свету, ни свет не видал его.

– Вот это у немцев считается миля, – сказал Иван Павлович, выглядывая из окна и вспоминая былое время походов. – Это семь верст.

– Ах ты, боже милостивый! – проговорила, словно проснувшись Анна Алексеевна и закрыла лицо руками.

– Что там такое?

– Ох, уж не знаю, как и сказать, Иван Павлович! Надо же такому греху случиться...

– Да что же такое? Говори, я говорю.

– Да ларец с Любашиным бельем ведь позабыли, весь...

Гонобобель вспыхнул как ракета и рассыпался звездочками в упреках и нравоучениях. Сто раз повторил он, что уже не воротится и что Анна Алексеевна может теперь управляться как ей угодно. Проехав, однако же, еще версты две, он закричал: «Стой!» – велел отпрячь лошадь из-под телеги и послал за ларцом, приказав привозить его прямо на ночлег. Нравоучения все еще сыпались обильно, но, по явному истощению запаса, повторялись все одни и те же, и притом майор брюзжал даже с некоторыми расстановками, переводя дух с большою свободой. Тогда Анна Алексеевна, все не говоря ни слова, рассудила, что пора прибегнуть к моченому гороху: молча подставила она супругу своему мешочек; старик жадно запустил туда руку и, набивая рот горстями, ворчал уже так бессвязно и невнятно, что Анна Алексеевна вольна была принять это за молчание или даже за изъявление удовольствия.

Минумет теперь прочие события на пути четы нашей в Кострому, даже и то,

что на первом привале, где стали закусывать, оказались в наличности одни только вилки, и притом полная дюжина, а ножей не было ни одного; оставим и то, что Гонобобель нашел в карете козла в мешке, как он уверял, и кричал, и хохотал и бесновался, и показывал всем людям, что барыня взяла с собою на дорогу козла в мешке, и заставлял всякого ощупывать рога, и велел его выкинуть вон, – и как, наконец, оказалось, что это был вовсе не козел с рогами, а кесеты с табаком и запасными трубками самого Ивана Павловича, – оставим, говоря, все то и пойдем вместе с родителями встречать и принимать из пансиона единственную дочь их, Любашу.

Странно, скажу и я при этом случае в скобках, приглашая всех и каждого послушать, что я говорю, – странно: все пансионы, воспитательные и учебные заведения учреждаются, как должно полагать, для того, чтоб воспитать и образовать человека вовсе не для пансиона собственно, а для света, в котором всем нам приходится жить... А между тем, пошлось на любого, – этому ли там всегда учат или этому ли там научаются?...

Публичный экзамен, с музыкой и угощением и танцами, с венками и цветочными вензелями, с речами на трех языках, прощальными стихами и прочими принадлежностями, был уже окончен, когда Гонобобели вкатились в рыдване своем шестерней в Кострому. Большая часть выпускных девиц были уже разобраны родителями, прибывшими к этому экзамену, и Любаша, в сиротстве своем, несмотря на живой и веселый нрав, пролила уже немало слез, глядя в томительном ожидании на своих подруг. Она, запыхавшись, вне себя выбежала навстречу родителям, пропустив на этот раз вовсе мимо ушей столь важные и дельные наставления начальницы, которая припоминала ей вслед, как себя держать, как приседать и кланяться и как приветствовать отца и мать. Она бросилась на шею матери, потом отцу, там опять матери, рыдала и смеялась. Анна Алексеевна плакала также навзрыд, и зрелище это вышло бы в самом деле невыносимо милительным, если б Иван Павлович не позаботился придать ему несколько более успокоительный оттенок. Старик встретил дочь громким и глупым смехом, врал и молот без умолку, обращая кстати и некстати внимание присутствовавших на умные речи свои. Девицы, вышедшие скромною вереницей в приемную проводить подругу свою и разделить с нею радость, стояли все в слезах и готовились заранее еще к обильнейшему плачу, – но они были до того озадачены поведением этого папеньки, что стояли в совершенном недоумении, как бесчувственные куколки. Сама даже начальница была поставлена в затруднительное положение и с свойственной ей находчивостью тотчас же приискала повод, чтоб пожурить вполголоса покорных овечек своих и тем отвлечь их внимание от странных замашек Гонобобеля. Но его нельзя было надоумить этим или сбить с кочу: как вежливый, светский человек, он, напротив, считал долгом своим придать более веселый вид этому свиданию и прощанию и занять девиц, а потому и обратился тотчас же к ним, засыпал их вовсе непонятными для них остротами и, забывшись несколько раз, протягивал руку, чтоб по привычке своей придержать своего собеседника за пуговицу. Он наступал на бедных, испуганных девиц вплоть и кричал почти в уши, то одной, то другой: «Слышите, что я говорю: я говорю, ха-ха-ха – я говорю: дочка переросла матушку – а? Каков ребенок? Я говорю, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: невеста хоть куда – отбою не будет от женихов, – слышите? Ха-ха-ха! А ну, поди-ка сюда, – продолжал он, –